

## Литература эмиграции.

### 1.

В русской эмиграции имеется несколько десятков известных русских писателей. Есть в ней и немало писателей молодых. И существует эмиграция добрых шесть лет. Почему же за такой долгий срок так мало создано в области литературы? Почему таким бескровным и бледным кажется эмигрантское творчество?

В России писателям приходится жить в ужасающих условиях материальной нужды и духовного угнетения. Судьбы литературы — в руках коммунистических сановников. Ее то обращают на путь истинного большевистского исповедания при помощи цензуры, сжигания крамольных книг и академических пайков придворным пиитам — то пытаются вовсе упразднить для того, чтобы в пустыне разрослось, наконец, пышным цветом хилое деревцо искусственной посадки — пролетарская литература. И даже теперь, когда как будто некоторые «правители» отказались от черезчур радикальных способов изничтожения «старого искусства» и высиживания нового — деятельность русских писателей протекает в обездушенной атмосфере всяческого произвола, стеснения и издевательств.

И несмотря на это — ценою огромных усилий и героического напряжения — в России не прекращается литературная работа. Можно по разному оценивать выдвинувшихся за последние годы писателей, но нельзя отрицать в них не только таланта, но и непрестанного искания новых поэтических форм. Быть может, именно это и представляет наибольшую заслугу тех, кто пишет сейчас в России: не только сохранили они искусство от окончательного разгрома, но и

сумели поддержать в нем жажду развития, то стремление к новым достижениям, которые и творят жизнь литературы, образуют вечную динамику искусства.

Казалось бы, в эмиграции развитие литературы должно было бы быть несравнимо ярче и полнее, нежели в России. Такие выводы совершенно естественно подсказывала логика.

Как бы ни было затруднительно материальное положение писателей — эмигрантов, оно в общем менее тяжко, нежели та обстановка нужды и лишений, в которых приходится биться их собратьям в России. Здесь, за рубежом — полная свобода высказываний. Здесь нет ни декретов Луначарского, ни литературных чекистов из «На посту», ни «Революционной Военной Цензуры», ни госпожи Крупской, изымающей из библиотек не только камер-юнкера Пушкина и графа Толстого, но и каторжника Достоевского и ссыльно-поселенца Короленко. Здесь существовало множество издательств, часть которых благополучно действует и по сей день. Здесь имеется периодическая печать разных направлений, альманахи, сборники и толстые журналы.

И тем не менее — какое безотрадное зрелище!

За шесть лет — молчание или перепевы «старших богатырей» слова; прилично-скучные повторения «средних» писателей и ужасающее отсутствие талантливой и, главное, живой, ищущей молодежи.

Мне часто приходилось слышать: но о чем можно писать в эмиграции? Современной русской жизни мы не знаем, от родины мы оторваны, а только родина и может вдохновить художника и подсказать ему подлинную тему.

Это рассуждение в корне ошибочно. Подлинный художник черпает свои темы столько же из запаса своего опыта, сколько из непосредственных наблюдений над окружающей его действительностью. А ведь какое огромное количество переживаний дали каждому из нас недавние годы, какой непочатый угол воспоминаний и образов должен лежать в душе того, кто творческим взором окидывал наши кровавые дни. И, наконец, разве то, что вокруг нас сейчас — не дает тысячи тем художнику? Замятин мог прежде написать своих «Островитян», а Бунин — «Человека из С. Франциско» — но теперь, когда писатели волею судеб вошли в соприко-

сновение с десятками народов и живут в чужих землях — не появилось ни одного произведения из жизни этих стран и народов. Существование наше подчас весьма экзотично — но напрасно будущий историк эмиграции будет искать его отражения в искусстве. Не найдет он в литературе эмиграции и изображения самой эмиграции.

Поразительное явление: до сих пор нет почти рассказов или романов, отражающих ту пеструю жизнь, полную борьбы, трагических воспоминаний и мучительных драм, какою живет два миллиона русских беженцев. То, что вышло до сих пор (Р. Г у л ь «В рассеянии сущие», Л. К р е с т о в с к а я «Опустошенные»), в сущности, не заслуживает даже критического разбора. Пожалуй, единственным бытописателем эмиграции останется бравый генерал Краснов, прославляющий двуглавый орел, амазонок и сиятельных монархистов.

Это отсутствие описаний эмигрантской жизни всегда казалось мне одним из доказательств творческого худосочия зарубежной литературы. Но если бы этот пробел возмещался какими либо иными творениями!

Основной грех эмигрантской литературы — это ее неподвижность. Она не выдвинула, кроме Алданова, ни одного талантливого писателя. Это литература без молодежи, а это значит — без будущего. В ней уверенно царят представители старого поколения — старого не годами только, а своей художественной манерой, своим подходом к искусству.

Я не могу вспомнить за эти шесть лет ни одного произведения, кроме романов все того же Алданова, которое могло бы остановить на себе внимание критика и читателя по своей оригинальности, которое вызвало бы споры, нападки, защиту.

За границей нет общей литературной жизни. Нет и борьбы, полемики. Нет даже преувеличений поэтической моды. Мне уже приходилось отмечать на страницах «Воли России», что даже для литературного скандала пришлось выписывать из России Есениных и Кусиковых, что даже для щекотанья нервов парадоксами потребовались «гости» — Эренбург и Шкловский. Говорю это отнюдь не потому, что люблю поэтическое озорство и приветствую умственное жонглерство. Но, пожалуй, они не хуже, чем та безрадостная тишь, которая царит в эмигрантской литературе.

Быть может, где-нибудь, в неведомых кружках и идет тайная работа, воспитывающая литературную молодежь, — но внешних признаков ее не видеть.

Литература эмиграции поражает именно отсутствием каких либо, хотя бы формальных достижений; в ней совершенно не проявляются те упорные и очень любопытные искания в области слова, которые идут в России и наложили свою печать на творчество прозаиков, начиная от Пильняка, кончая Леоновым, и поэтов, начиная от Маяковского и кончая Тихоновым или Пастернаком. Искания эти завещаны нам символизмом и проникают и весь предреволюционный период нашей литературы. В эмиграции их наблюдать не приходится — и она не может назвать ни одного взлелеянного ею талантливого поэта.

Только два имени приходят на ум, когда речь идет о поэтическом творчестве за рубежом: Марины Цветаевой и Вл. Ходасевича. Но оба — были сложившимися творческими индивидуальностями задолго до своего отъезда из России.

Из более «старых» поэтов — молчит З. Гиппиус, а Бальмонт и Бунин в тысячный раз повторяют себя, не радуя читателя и ничего не прибавляя к тому, что ими сделано и сказано. За шесть лет — ни одного нового — хоть сколько-нибудь примечательного поэта, ни одного проявления исканий в области формы. Пусто и безнадежно. И насмешкой кажутся речи, что литература здесь — в Париже, Берлине и Праге — что только за рубежом живо русское слово.

За немногими исключениями, (напр. Ремизов), литература русской эмиграции носит глубоко консервативный характер. Она остановилась на лете 1914-м от Рождества Христова. Она ничего не продолжает, а только повторяет.

Сто тридцать лет тому назад французская эмиграция создала тоже свою литературу. Но она, по крайней мере, выдвинула Шатобриана. А у нас нет даже своего Ксавье де Местра. И не надо забывать, что Шатобриан принес с собою не только «Гений Христианства» и идеологию религиозной реакции, но и «Аталу» и «Рене», ознаменовавших собою раннее романтическое движение, открывавших новую главу в истории французской литературы.

Французская эмиграция конца XVIII века была в литера-

турном отношении счастливее русского беженства XX-го столетия.

## 2.

Наиболее видными представителями эмигрантской литературы справедливо считаются два писателя: Куприн и Бунин.

Но «представительство» Куприна основано исключительно на его прошлом. Куприн живет в эмиграции, но не имеет почти никакого отношения к ее литературе по той простой причине, что перестал писать.

За четырехлетнее пребывание свое за границей он не выпустил ни одной книги. Кроме маленьких рассказов, помещенных одновременно в сборниках «Грани» и «Окно» Куприн ничем не проявил себя как писатель. Ибо, конечно, нельзя принимать в расчет те его публицистические упражнения, которые он иногда помещает, то в «Сборнике галлиполицев», то в монархической «Русской Газете». Жаль, однако, что Куприн, вместо того, чтобы писать хорошие рассказы (что он умел когда то), пишет теперь никому ненужные и скучные статьи на патриотические темы (чего он совсем не умеет).

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Куприн ничего более русской литературе не даст. Он жив физически — но безгласен для искусства.

С ним произошла та трагедия, о которой говорил еще Баратынский: «свой подвиг ты свершила прежде тела, безумная душа». Очевидно, замкнут для Куприна «узкий круг подлунных впечатлений» и нечего ему поведать миру. Так еще при жизни стал он прошлым, и — современник — подлечит уже не разбору критика, а определению историка русской литературы начала века.

Если взять творчество другого крупного писателя русской эмиграции — Бунина, то и оно целиком принадлежит прошедшему периоду русской литературы. Но Бунин, несомненно, крупнее по дарованию, чем Куприн и имеет над последним еще и то неоспоримое преимущество, что творит постоянно, и не замыкает уст своих даже в последние годы.

Рассказы и стихи времен революции и эмиграции объ-

единил Бунин в недавно вышедшем сборнике своем «Роза Иерихона» (из-во «Слово», Берлин — 1924 г.).

Если бы в этой книге прозвучало нечто необычное для творчества писателя, она могла бы стать литературным событием в эмиграции: но она лишь новое звено к той великолепной, чеканной цепи, которую уже свыше двадцати лет искусно выковывает Бунин.

Пожалуй, ни одному из современных русских писателей так не подходит звание «академика», как к Бунину. Есть в нем что-то строгое и официальное, и приносит он в литературу холодное совершенство стиля и некую величавую неподвижность «бессмертного».

Поэт и прозаик, по существу, был одним из немногих представителей русского Парнасса. Подобно тому, как французские поэты семидесятых годов прошлого столетия, выступили против бурного и страстного беспорядка романтики, так и Бунин, в начале XX столетия, в противовес многословной расплывчатости и мистической пламенности символизма, выставлял сжатую и совершенную форму в духе классической традиции, реализм содержания и объективную манеру письма. Он, конечно, сыграл в нашей литературе гораздо меньшую роль, чем основатель Парнасса — Леконт де Лиль. Но у него много черт сходства с французским поэтом. Как и автор «Варварских поэм», стремится он к великолепной отчетливости и ясности. Его поэтический идеал — писать «стальным клинком сонет на снеговой вершине». Он глубокий пессимист, ни во что не верующий, ничему не поклоняющийся. Он остро чувствует тщету мира — и только с эстетической стороны очаровывают его на миг видения природы и жизни.

В произведениях Бунина, как и в поэмах Леконт де Лиль, никогда не встретишь любви к миру: есть там лишь презрение к человеку и наслаждение вещами. Чувство меры и гармонии, безошибочный вкус, большое мастерство художника делают творчество Бунина формально безупречным, но не одна богиня красоты осеняет его, а и мрачные тени разуберения и отчаяния. Не только холодом снеговых вершин художественного совершенства, но и холодом смерти веет от этих стихов и рассказов. Недаром лучшее произведение

Булнина — «Человек из С. Франциско», повесть о безнадее- ной пустоте жизни.

Ничего и никого не любит Бунина. Может быть, и у него, как и у героя одного из его рассказов («Безумный худож- ник») рождалась дерзкая мысль изобразить небеса, преис- полненные вечногo света, светозарные лики и крылья сера- фимов — но всегда описывал он действительность мрач- ную, мысли тяжелые, природу равнодушно-жестокую.

Мысли о мире, о жизни, рождает в нем только ужас. Он о Боге скажет:

...Он слишком величав  
И слишком необъятен. Он молчанье,  
Он штиль морей и пыль сожженных трав,  
Он разум мой, мне чуждый, — оттого,  
Что разум мой не любит ничего.

Булнин в своей живописующей поэзии остро схватывает облик природы: он хорошо видит краски и очертания, и лучшие его стихотворения отличаются именно этим поэти- ческим реализмом. Но его образы всегда точно застыли на эмали — блестящей, гладкой, холодной. И только эта не- подвижность позволяет ему любоваться красотой явлений. Ибо для него движение всегда — смерть, и в результате раз- мышления может быть только одно:

«Презрение к земле и отчужденье  
От всей земной бессмысленной красоты».

У Леконт де Лиля есть знаменитое стихотворение, его «Villanelle»:

Le Temps, l'Etendue et le Nombre  
Sont tombés du noir firmament  
Dans la mer immobile et sombre.  
Suivre de silence et d'ombre  
La nuit efface absolument  
Le temps, l'Etendue et le Nombre.

(Время, пространство и число упали из черного неба в недвижимое, темное море. Саван безмолвия и теней, ночь поглощает время, про- странство и число).

В этом вся философия Бунина. Ночь, мрак безысход- ный, немота и сознание человеческой бренности и бес- смысла.

Этот же мрачный тон, эта же душевная опустошенность проникают и новую книгу Бунина.

Ее лучший рассказ — «Сны Чанга» — история несчастли-

вой жизни и тоскливой, одинокой смерти капитана, хозя- ина китайской собаченки — начинается вопросом: «не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает ли того каждый из живших и живущих на земле?» И собака Чанг, и капитан, с его разбитой жизнью — тени, чьи-то сны в бездне времен. И все — сон кошмарный, конец неотвратимый. Кошмар — в «Крематориуме, где сжигают мертвецов, в галлюцинации без- умного художника, в страсти к убийству Соколовича, душа- щего проститутку. И то, что в России — тоже только ужас и кошмар.

Революция — сорвавшийся с цепи, всбесившийся пес, пожар в усадьбе, в которой умер хозяин. И опять — безна- дежность:

Вот встанет бесноватых рать  
И, как Мамай, всю Русь пройдет.  
Но пусто в мире — кто спасет?  
Но Бога нет — кому карать?

И характерное признание:

Душа навеки лишена  
Былых надежд, любви и веры.  
Потери нам даны без меры,  
Презренье к ближнему — без дна.

Напрасно только Бунина говорит о «былой вере». Веры никогда в нем не было, и прежде, как и теперь, этот не- добрый художник, легче всего находил слова «для ненависти, отвращения» и мрачного пессимизма.

Но только раньше рассказы Бунина отличались меньшей отрывочностью, не носили, как в «Розе Иерихона» столь явно выраженного характера стихотворений в прозе. Широкая чи- тающая публика, почитая Бунина, называет его несколько скучным: виною этому малая с ю ж е т н о с т ь его произве- дений и то отсутствие неподдельного чувства, которое лишает их способности захватить и очаровать читателя. Ими люби- ешься, как сам автор их любит горами, морем, закатом: на отдалении, как стихией прекрасной, но чуждой.

Надо ли считать символическим то явление, что наиболее крупным представителем литературы эмиграции является пи- сатель, не только тоскующий о прошлом, не только счита- ющий, что России конец — но и по всему складу своего твор-

чества и своего мировоззрения ни во что не верящий, ничего страстно не чувствующий и посвящающий лучшие свои страницы описаниям безысходности, отчаяния и смертной гибели?

Во всяком случае, таким знали мы Бунина и десять лет тому назад, когда был он уже автором «Деревни», «Человека из С. Франциско», и «Иудеи». Его книга не вносит никаких новых черт в его литературный портрет. Она не изменяет также и общего характера эмигрантской литературы.

(Продолжение следует).

Марк Слоним.

## Армия последышей реакции.

Эта армия существует. Существует частью в реальных, осязаемых формах, частью в каком-то туманном, полужанровом фантастическом виде.

Духовно..., если только можно применить к ней этот термин, духовно она яркое, своеобразное перевоплощение знаменитых ленинских латышских стрелковых бригад.

Я помню, как однажды, вскоре после большевицкого переворота, в Петроград вошли латышские полки. Шли они, спаянные общностью интересов, идеи, языка, национальности, по улицам, чужого, незнакомого города с чужим, русским не латышским населением. Были они на службе у русской политической партии, у коммунистов. Поэтому, конечно, чувствовали себя политически более русскими, чем все русские некоммунисты. Но вместе с тем, они были глубоко чужды населению и оно было для них чуждо. И эта отчужденность при первых столкновениях породила дикую ненависть. Для населения слово «латыш» звучало, как наемник, кондотьер, иностранный угнетатель... Население даже не думало о том, что миллион двести тысяч других латышей, основавших под боком России демократическую республику, являются убежденнейшими врагами большевиков. Оно в них ненавидело вооруженных чужестранцев, силою оружия, водружающих кучку насильников в русский Кремль, чужестранцев в лучшем случае равнодушных, и потому беспощадных в бою, к русскому народу. А латышские стрелки, убежденные в том, что именно их русские вожди-коммунисты, знают всю истину, и что, для торжества коммунизма в Латвии необходимо его торжество в России, платили тою же монетой населению, желавшему жить своей